

ВЛАДИМИР ЛАЗОВИК

ТЕМНАЯ НЕВЕСТА



За гранью мира людей
ее ждет сказка.
Только вместо принца —
древнее чудовище.

Владимир Евгеньевич Лазовик
Темная невеста
Серия «Румперия. Дыхание магии»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74641981
ISBN 978-5-04-256580-9

Аннотация

Город Жвялый процветает вопреки всякой логике: его урожаи обильны, а болезни обходят жителей стороной. Но за это благополучие горожане платят страшную цену – раз в поколение отдают одну из местных девушек в невесты древнему чудовищу. Теперь выбор пал на ту, которой нечего терять. Агата – воровка, приговоренная к пожизненному заключению. Однако вместо тюрьмы ее ждет поместье лесного монстра Лихо, где стены дышат, коридоры меняются, а тени следят за каждым шагом. Чтобы выжить, ей придется узнать правду о хозяине леса и договоре, который связывает его с городом. А главное, ответить на вопрос: кто здесь настоящее чудовище?

Содержание

Глава 1 Клетка	6
Глава 2 Приговор страшнее смерти	22
Конец ознакомительного фрагмента.	34



Владимир Лазовик

Темная невеста

Иллюстрация на обложке GATATSU

Художественное оформление *Анастасии Грищенко*

© Владимир Лазовик, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Глава 1 Клетка

Воздух в камере можно было жевать. Густой, как болотная вода, он оседал на языке привкусом влажного камня, мха, застарелой ржавчины и человеческого отчаяния. Агата давно перестала его замечать, как перестают замечать собственное дыхание. Он просто был – тяжелый саван, окутывающий ее с головы до ног. Солнечный свет сюда не проникал никогда. Он был чем-то из другой жизни, сродни сказке о теплых морях или жареных гусях, – верить в него было глупо и бесполезно. Единственным источником знаний о мире снаружи был тонкий сквозняк, который иногда просачивался сквозь щель под дверью, принося с собой запахи мокрой листвы, конского навоза или дыма из печных труб.

Ее мир был треугольником, очерченным длиной цепи. Один угол – грубо сколоченная полка, вбитая прямо в стену, ее постель. Второй – квадратное отверстие в нижней части двери, куда дважды в день с грохотом ставили миску с безвкусной кашцей. Третий – выгребная яма в дальнем углу, зловонная пасть, источающая холод и миазмы. Цепь, прикованная к железному кольцу у изголовья полки, заканчивалась ледяным обручем на ее шее. Она знала наощупь каждый его изгиб, каждую зазубрину на металле, каждую царапину, оставленную, быть может, кем-то до нее. Поначалу он жег кожу и казался невыносимо тяжелым. Теперь же стал почти

неотличим от ее собственного тела, словно дополнительный позвонок, вросший в основание черепа.

Длины цепи хватало ровно на то, чтобы дотянуться до еды и дойти до ямы. Ни шагу больше. Это было выверенное, продуманное унижение. Иногда, по ночам, когда тишина становилась особенно плотной, Агата слышала, как по ту сторону стены скребутся крысы – единственные существа в этом каменном мешке, кто был свободнее нее.

Это был ее десятый раз. Она вела счет не по дням, а по арестам. Первый раз, когда ей было двенадцать, стал ошибкой – неуклюжей, глупой попыткой стащить буханку хлеба с лотка зеленщика. Ее поймали, высекли и отпустили с клеймом воровки. Третий раз был уже дурной привычкой, отточенным движением пальцев, снимающих кошель с пояса зазевавшегося купца. Тогда ее бросили в эту самую камеру на неделю, и холод камня впервые впитался в ее кости. Пятый раз стал закономерностью. Город уже знал ее, стражники лениво кривили губы при виде ее грязного лица. Она стала частью городского пейзажа, как бродячие собаки или кривые заборы.

На восьмой раз ей дали срок – полгода. Она вышла весной, шурясь от непривычно яркого солнца, и поняла, что мир за стенами тюрьмы стал для нее чужим. Люди шарахались от нее, матери прятали детей. Она была сиротой, не умеющей ни шить, ни стирать, ни гнуть спину в поле. Улица научила

ее только одному – брать то, что плохо лежит, чтобы выжить. Десятый раз стал приговором. Пожизненное. Она надоела. Маленькая, назойливая проблема, от которой город решил избавиться раз и навсегда. Судья, сытый мужчина с тройным подбородком, даже не смотрел на нее, когда зачитывал вердикт. Для него она была не человеком, а строчкой в отчете. Бесповоротная преступница. Шансов нет.

Агата сидела на краю полки, обхватив колени руками. Холодный металл ошейника касался подбородка. Она не плакала. Слезы замерзли где-то внутри еще после восьмого срока. Вместо этого она слушала. Слушала, как с потолка, отсчитывая секунды ее бесконечного заключения, падает капля.

Кап.

Пауза, в которой уместалась целая вечность.

Кап.

Она знала, что капля падает на одно и то же место, выдолбив в каменном полу крошечную, почти невидимую в темноте ямку. Это было единственное изменение, происходившее в ее мире. И Агата, неподвижная, прикованная к стене, чувствовала с этой медленной, упрямой водой странное, извращенное родство. Она тоже точила свой камень. Камень отчаяния. И ждала, что сломается первым.

Звук приближался – шаркающий, тяжелый, предвестник единственного события, которое еще имело значение. Он полз по каменному коридору, отражаясь от стен, и Агата чувствовала его скорее всем телом, чем ушами. Вибрация про-

никала сквозь пол, поднималась по ее ногам, заставляя сердце отбить два-три глухих нетерпеливых удара. Она не шевелилась, застыв в позе терпеливого хищника, вслушиваясь в ритм чужой жизни.

Темный прямоугольник в двери отодвинулся с визгом ржавчины, который въелся в ее слух, как кислота. В камеру ворвался новый воздух – с запахом горячего металла, варена и пота. Затем в проем скользнула рука, грубая, с потрескавшейся кожей и грязью под ногтями, держащая глиняную миску. Миска ударилась о каменный пол с глухим стуком, расплескав немного серой жижи, и рука исчезла. Но вместо того, чтобы сразу уйти, тень заслонила проем. Два глаза, едва различимые в полумраке, уставились на Агату.

«Тс-с-с...» – прошипел голос, принадлежавший руке, скрипучий, как несмазанная телега. Пауза. Агата чувствовала, как взгляд ощупывает ее лицо, волосы, фигуру, словно оценщик на невольничьем рынке. «А ведь даже красивая девчонка. Что ж ты в поле не пошла, дура молодая».

Слова были просто звуками, оберткой для того единственного, что имело значение. Они не задевали, не оскорбляли, не вызывали ничего, кроме смутного раздражения за задержку. Она ждала. Ждала, когда тень уберется и оставит ее наедине с миской. Наконец послышался удаляющийся шорох юбки, и прямоугольник света снова погрузился во тьму.

Только тогда Агата двинулась. Медленно, чтобы не издать лишнего звона, она сползла с полки. Цепь прочертила по по-

лу ленивую дугу, звякнув лишь однажды. Она подползла к миске. Тепло, исходящее от нее, было почти осязаемым чудом в этом царстве вечного холода. Она прижалась щекой к шершавой глине, впитывая его, позволяя ему растечься по коже. Ей было восемнадцать. Пожизненный срок только начался, но она уже чувствовала себя так, словно родилась на этой каменной полке, с этим железным обручем на шее. Мир снаружи, с его ветром, солнцем и лицами, стерся, превратился в бессвязный сон. Существовала только камера, капля с потолка и этот дважды в день случающийся ритуал. Существовала еда.

Она зачерпнула теплую кашу пальцами. Обоняние, обострившееся в темноте, уловило всю палитру запахов: пресный дух разваренного зерна, едва уловимый аромат дыма и под ним – густой, землистый запах лука. На языке она была почти никакой – пресная вязкость зерна, сваренного на воде. Но потом зуб наткнулся на упругое, скользкое тело, спрятанное в серой массе. Огромный, почти не разрезанный пласт луковицы. И когда она раскусывала его, рот наполняла обманчивая, призрачная сладость, которая не имела ничего общего с сахаром. Это была сладость не меда, а гниющей земли, сладость выживания, концентрированная сила, вытянутая из грязи. Она медленно, тщательно пережевывала каждый кусок, закрыв глаза, отдаваясь этому ощущению полностью. Ее тело, ее кровь, ее кости требовали этого. Не для удовольствия. Для жизни.

Когда миска была вылизана до последнего зернышка, Агата отодвинула ее в сторону. Она села, прислонившись спиной к холодной стене, и прислушалась к тому, как тепло медленно расходуется по ее венам. Это было единственное чувство, которое еще напоминало ей, что она жива. И в ее голове была только одна мысль, чистая и ясная, как капля воды с потолка: ожидание следующей порции. Следующего прилива тепла. Следующего доказательства, что она все еще существует.

Тепло от каши в животе было недолгим гостем. Оно вспыхнуло, разлилось по телу ленивой волной, а затем начало таять, уступая место привычному, глубинному холоду, что жил в самом ее костном мозге. И в этой тихой сытой пустоте, когда телу больше ничего не было нужно, на поверхность всплывали они. Родители.

Это слово в ее голове не имело четкого образа, как, например, «хлеб» или «камень». Память о них была не историей, а набором ощущений, выцветшим гобеленом, где остались лишь самые яркие нити. Она не помнила их лиц целиком, только фрагменты, как осколки разбитого зеркала, в каждом из которых отражалось что-то одно, невыносимо четкое.

Отец – это был запах. Запах холодной речной тины и рыбьей чешуи, въевшийся в кожу его ладоней так глубоко, что не отмывался никогда. Агата помнила, как он брал ее руку в свою, и этот запах окутывал ее пальцы, оставаясь с ней на несколько часов. Его руки были картой из мозолей и шра-

мов, грубые, но его прикосновение к ее щеке было невесомым, как будто он боялся поцарапать ее своей кожей. Еще она помнила звук – ровный, медитативный голос точильного камня, о который он правил свой длинный нож. Шшш-рррк, шшш-рррк... Этот звук был колыбельной ее раннего детства, обещанием порядка и неизменности. Он точил нож, значит, завтра будет рыба. Значит, завтра будет еда.

Мать – это было касание. Тонкие, почти прозрачные пальцы, всегда пахнувшие чем-то горьким и терпким, как растертый лист полыни. Она помнила, как эти пальцы перебирали ее волосы, заплетая тугую косу, и легкая боль от натяжения у корней была единственным доказательством, что это не сон. В волосах матери, темных, как вороново крыло, была одна-единственная белая прядь, ровная и яркая, будто лунная нить, вплетенная в ночное небо. Агата любила трогать ее, когда сидела у матери на коленях. Прядь была другой наощупь, более жесткой и прохладной. Иногда мать тихонько напевала что-то, но это была не песня, а просто мелодия без слов, тягучая и печальная, похожая на скрип старого дерева на ветру.

Они существовали в ее памяти как единое целое – запах тины и горечь полыни, звук точильного камня и тихая мелодия без слов. А потом – ничего.

Разрыв. Словно кто-то вырвал страницу из книги ее жизни. Нет ни криков, ни прощаний, ни болезни, ни страха. Просто одно воспоминание, где тепло материнской руки на ее

затылке сменяется следующим.

Она стоит на грязной улочке Жвялого. В руках у нее – половина сухой, окаменевшей булки. Она не помнит, где взяла ее. Рядом, припадая к земле, рычит тощая собака с прижатыми ушами и свалявшейся шерстью. Ее желтые глаза не отрываются от хлеба. Агата тоже рычит в ответ, прижимая булку к груди, чувствуя, как острые крошки впиваются в кожу. Вокруг них течет жизнь: проходят грузные женщины с корзинами, скрипят телеги, кто-то смеется. Но их маленькая война за выживание невидима для этого мира. Собака делает выпад, и ее зубы клацают в миллиметре от детских пальцев. Агата отшатывается, спотыкается и падает в грязь. Собака выхватывает булку и отскакивает в сторону, жадно вгрызаясь в твердую корку.

Агата лежит в луже, и по ее лицу текут не слезы, а грязная вода. Она смотрит на проходящие мимо ноги в стоптанных сапогах и грубых башмаках. Никто не смотрит вниз. Никто не протягивает руку. В тот момент, в свои пять лет, она поняла самую главную правду о мире, которую не смогла бы объяснить словами. Правду о том, что ты один. Всегда. Ее родители не просто исчезли. Вместе с ними исчезла сама идея о том, что кто-то может помочь. Их не стало, и мир показал свое истинное лицо – равнодушное, вечно спешащее мимо чужой беды.

Были ли у них братья, сестры, хоть какая-то родня? Она не знала. В ее памяти не было других лиц, кроме их двоих.

Словно они были единственными людьми на всем свете. А потом единственным человеком на всем свете осталась она.

Десять арестов были лишь верхушкой айсберга, видимыми провалами в ремесле, которое она оттачивала тысячами незамеченных успехов. Попадалась она, когда была слишком голодна, слишком неосторожна или когда мир просто решал напомнить ей о ее месте. Но между этими провалами лежали целые эпохи безупречной, невидимой работы. Кража была ее дыханием, ее языком, единственным искусством, которым она владела в совершенстве.

Самым дерзким ее триумфом стала кража супа. Это случилось промозглой осенью, когда воздух пропитался запахом гниющих листьев, и холодный туман цеплялся за одежду, проникая до самых костей. Голод в такие дни был особенно острым, злым, грызущим изнутри. Агата знала, что Старейшины Жвялого собрались на ужин в доме главы городского совета – толстого, как боров, мужчины, чей дом стоял особняком, окруженный высоким забором. И знала она это по запаху.

Он плыл над крышами, дразнящий и густой – аромат жареной птицы, печеных яблок и, главное, наваристого, дымящегося супа. Этот запах был обещанием, маяком в сером море ее существования. И она пошла на него.

Она не ломилась через парадный вход. Она стала частью сумерек, тенью, скользящей вдоль забора, изучая свет в окнах, слушая обрывки громкого, сытого смеха. Она была тер-

пелива. Она ждала, пока суета на кухне, видимая через запотевшее окно, не достигнет своего пика. Когда поварихи, раскрасневшиеся и уставшие, вынося одно блюдо за другим в столовую, оставят свое царство без присмотра на драгоценные мгновения.

Ее целью была задняя дверь, ведущая на кухню. Она была сделана из грубых, толстых досок с простым железным засовом. Замок был ее холстом, а тонкая заточенная проволока – ее кистью. Агата прижалась ухом к холодному дереву, слушая не звуки внутри дома, а внутреннюю жизнь замка. Ее пальцы, тонкие и чуткие, работали с проволокой, ощущая малейшие сдвиги, щелчки, сопротивление пружин. Это был интимный, тихий диалог с металлом. Она не взламывала его; она уговаривала его открыться. И через минуту, которая показалась ей вечностью, раздался тихий, маслянистый щелк. Засов поддался.

Она приоткрыла дверь на толщину волоса. В нос ударил жаркий влажный воздух, плотный от запахов еды. Кухня была пуста, но полна следов недавней битвы: на столе лежали горы грязной посуды, на полу была рассыпана мука, в воздухе висел пар. А на краю остывающей плиты стоял он. Чугунный котелок, черный и тяжелый. От него все еще поднимался легкий парок, и сквозь щель под крышкой просачивался тот самый божественный аромат – тимьян, жирная птица, глубинная сладость долго варенных корней.

Это была самая сложная часть. Котелок был тяжелым, а главное – горячим. Она сняла с себя ветхую шаль, сложила ее в несколько раз. Сердце колотилось о ребра, как пойманная птица. Она знала, что у нее есть секунды. Схватив котелок обмотанными руками, она ощутила, как жар проникает сквозь ткань. Она подняла его, напрягая все мышцы. Жидкость внутри опасно плеснулась. Агата замерла, прислушиваясь. Тишина. Только отдаленный гул голосов из столовой.

Она двигалась назад, к двери, не поворачиваясь спиной к комнате. Каждый шаг был выверен, каждый мускул напряжен, чтобы не расплескать драгоценное содержимое, не издать ни звука. Горячий чугун прижимался к ее груди, и это было самое прекрасное ощущение в мире – теплая, весомая тяжесть обещания.

Выскользнув за дверь, она прикрыла ее так же тихо, как и открыла. Она не стала запирать замок. Это была ее подпись, молчаливое послание: я была здесь, и вы даже не заметили.

Никто так и не понял, что произошло. Поварихи решили, что кто-то из прислуги по ошибке унес котелок в погреб. Старейшины, уже пьяные и сытые, просто не заметили отсутствия одного блюда. А Агата, спрятавшись в заброшенном сарае на окраине города, сидела в темноте, обняв свой трофей, и ела самый вкусный суп в своей жизни прямо из котелка, зачерпывая его ладонью. Это была не просто еда. Это была победа. Маленький дымящийся кусок мира, который она отвоевала у тех, кто считал, что ей не положено ничего.

В тишине, которая следовала за приемом пищи, рождались другие звуки. Капля с потолка была метрономом ее заключения, но был и другой ритм, более живой и непредсказуемый. Он начинался с едва уловимого шороха в углу, где тень была гуще всего. Сухой, царапающий звук крошечных когтей по камню. Сначала Агата думала, что это просто крысы за стеной, но этот звук был иным – ближе, деликатнее. Это был звук жизни, которая была не ее.

Это был гость.

Мышь была маленькой, серой и обладала абсурдной, почти суицидальной смелостью. Она появлялась в одно и то же время, после того как уносили пустую миску. Сначала Агата просто наблюдала за ней, за тем, как крошечный силуэт шмыгал вдоль стен, сливаясь с камнем. Потом от нечего делать она попыталась ее поймать. И поймала.

Это стало их игрой, их ритуалом. Мышь появлялась, и Агата превращалась в охотника. Она не делала резких движений. Она замирала, становясь частью камня, частью тени. Ее дыхание становилось не глубже дыхания самого камня. Она следила за движением не глазами, которые в этой темноте были почти бесполезны, а слухом и кожей. Она чувствовала вибрацию от крошечных лапок, улавливала малейший скрип, предсказывала траекторию. Мышь, в свою очередь, двигалась не как испуганная жертва. Ее бег не был паническим. Она исследовала территорию, останавливалась, припихивалась, чистила усы. Это было дерзкое, вызывающее

поведение.

И когда наступал нужный момент, рука Агаты двигалась. Это было движение, отточенное тысячами краж – быстрое, бесшумное и абсолютно точное. Ее ладонь накрывала мышь не с силой удара, а с точностью падающего листа.

Под ее пальцами оказывалось крошечное, вибрирующее отчаянным сердцебиением тельце. Она никогда не сжимала кулак. Она просто создавала для него маленькую теплую темницу из своих пальцев. Она подносила ее к лицу, чувствуя на коже щекочущий трепет усов, ощущая лихорадочный пульс, который бился о ее ладонь, как пойманный мотылек. Она вдыхала ее запах – сухой, пыльный, мускусный. Запах жизни.

Именно в этот момент возникал вопрос. Была ли мышь просто глупой? Возвращалась ли она снова и снова в ловушку, неспособная усвоить урок? Или в этом было нечто большее? Возможно, мышь, как и она, была одинока в этом каменном мире. Возможно, она понимала, что эта игра – единственная форма взаимодействия, доступная им обоим. Что рука, которая ловит, – это та же рука, которая отпускает.

Один сжатый кулак – и гость исчезнет навсегда. Одна вспышка власти, одно мгновение контроля над жизнью и смертью. Но Агата никогда этого не делала. Она держала мышь ровно столько, чтобы почувствовать ее тепло, ее страх, ее существование. А потом разжимала пальцы.

Мышь не убегала в панике. Она на секунду замирала на

открытой ладони, словно приходя в себя, потом быстро отряхивалась и исчезала в своей тенистой норе. Словно ничего не произошло. Словно это был просто очередной раунд их бесконечной партии.

Агата оставалась сидеть в темноте, и на ее ладони еще долго сохранялось фантомное ощущение крошечного бьющегося сердца. И она думала о том, кто из них был глупее. Мышь, которая раз за разом возвращалась в ладонь хищника? Или она, которая раз за разом отпускала единственную вещь в этом мире, которая полностью принадлежала ей?

Время в ее мире не текло – оно пульсировало. Длинные, тягучие периоды непроницаемой тьмы и абсолютной тишины, прерываемые короткими яркими вспышками жизни. Агата знала, что наступило время сна, не по усталости и не по положению луны, которой она не видела. Она знала это по тому, как умирал свет.

Его рождение всегда было предвестником еды. Сначала под дверью просачивался запах – горячей смолы и гари. Затем, словно нехотя, под щелью прочерчивалась тонкая дрожащая линия янтарного света. Она не освещала камеру, нет. Она лишь делала темноту менее абсолютной, давая контуры вещам, которые Агата и так знала наощупь. Эта полоска света была живой. Она дышала, то разгораясь ярче, то почти угасая, и от ее танца тени в камере приходили в движение. Угол, где жила мышь, становился глубже, а мокрое пятно от капли на стене на мгновение вспыхивало тусклым блеском.

Вместе со светом приходил и звук – далекое уютное потрескивание горящего дерева. Оно было слабым, но в ее мире, где единственными звуками были капля и скрежет мыши, оно казалось оглушительным хором.

Она не знала, какая из двух паек была утренней, а какая – вечерней. Для нее это были просто Первая и Вторая. После Первой вспышки света она знала, что впереди еще одна. Она ждала. После Второй она знала, что наступает долгая тьма. Время спать.

Смерть света была так же ритуальна, как и его рождение. Сначала потрескивание в коридоре менялось. Оно становилось беспокойным, а затем к нему примешивался звук шагов, тот же, что приносил еду. Потом – короткое, злое шипение, похожее на вздох умирающего. И в этот самый миг полоска света под дверью дергалась в последней агонии, захлебывалась и исчезала.

Именно в этот момент темнота обрушивалась на нее с новой, физически ощутимой силой. Она не просто наступала – она вливалась в щель, как черная вода, затапливая камеру, становясь гуще, тяжелее, чем была до этого. Запах гари становился резче на несколько секунд, а потом начинал таять, уступая место привычному запаху холодного камня. Тишина, наступившая после, была иной. Она была не пустой, а плотной, как осязаемая вата, забивающая уши.

Тело Агаты знало этот сигнал лучше, чем ее разум. Она

поднялась, и цепь звякнула в этой новой оглушительной тишине. Она забралась на свою полку, чувствуя, как холодное неровное дерево впивается в бок. Иногда, если она не была достаточно уставшей, она пропускала этот сон. Она просто сидела и ждала Третьей вспышки, Третьей смерти света, нарушая свой собственный цикл, просто чтобы доказать себе, что она все еще может что-то решать.

Но не сегодня. Сегодня ее тело было тяжелым, а разум – пустым. Она свернулась калачиком, подтянув колени к груди, и ошейник неприятно впился в шею. Она закрыла глаза, хотя это ничего не меняло. Тьма под веками была того же качества, что и тьма снаружи. Она не засыпала. Она погружалась. Медленно, как будто опускаясь в черную, бездонную воду, она отпускала себя, позволяя тишине и темноте поглощать ее до следующей вспышки света. До Первой.

Глава 2 Приговор страшнее смерти

Пробуждение было не выходом из сна, а всплытием из одной тьмы в другую, чуть менее плотную. Агата проснулась не от звука, а от его отсутствия. Капля перестала падать. Тишина, нарушившая привычный ритм, была тревожной, как затишье перед бурей. Она села на полке, и ошейник, привычно и холодно, лег на ключицы. Она прислушалась, пытаясь уловить, что изменилось. И тогда она это почувствовала.

Это была не тишина. Это был гул.

Обычно звуки мира наверху доходили до нее обрывками, отфильтрованными толщей земли и камня. Глухой стук колеса по брусчатке, далекий лай собаки, обрывок пьяной песни – все это было фоновым шумом, доказательством того, что жизнь продолжается. Но сегодняшний звук был иным. Он был сплошным, низкочастотным, как гудение гигантского шмеля, запертого в бочке. Вибрация шла не сверху, а отовсюду. Она проникала сквозь каменный пол, заставляя мелко дрожать ее кости. Она давила на уши, создавая ощущение, будто воздух в камере стал тяжелее, плотнее. Агата сползла на пол, прижавшись щекой к холодной, влажной поверхности. Так было лучше слышно. Это был не рокот повседневности. Это был звук толпы. Не праздничной, не ярмарочной. В этом гуле не было смеха или музыки. Было только напряженное, злое ожидание, спрессованное в единый рычащий

организм. Словно весь Жвялый, от мала до велика, собрался прямо над ее головой, на тюремной площади. Их тысячи ног, переминающихся на месте, сливались в единый давящий звук, от которого, казалось, крошится камень.

Что происходит? Мысли в ее голове были медленными, неповоротливыми, как она сама. Новый заключенный? Она знала эту процедуру. Город любил провожать своих отбросов. Любил смотреть, как очередного несчастного, будь то вор, пьяница или просто неугодный, волокут к этим дверям. Толпа в такие моменты гудела одобрительно, упиваясь чужим падением, которое делало их собственную серую жизнь чуточку праведнее. Да, это было похоже. Наверху сейчас стоит кто-то, окруженный стражей, и ловит на себе сотни ненавидящих взглядов. Новый козел отпущения.

Агата провела пальцами по холодному металлу цепи. Она помнила этот звук со стороны жертвы. Помнила, как он обволакивает, липнет к коже, забивается в уши, не оставляя места для собственных мыслей. Это звук коллективной ненависти, чистой и не замутненной состраданием. Он пахнет потом, кислой капустой и самодовольством. Сейчас кто-то другой впитывал в себя этот яд, становился громоотводом для всех страхов и пороков Жвялого. Ей не было его жаль. В этом каменном мешке не было места для жалости. Было лишь смутное, отстраненное любопытство и тень мрачного узнавания. Еще одна жизнь, перемолотая жерновами этого города.

Но гул не стихал. Он становился громче, напряженнее. В нем появились новые ноты – отдельные пронзительные выкрики, которые не долетали до нее словами, но доносились чистой, незамутненной эмоцией. Ярость. Страх. И что-то еще, что-то древнее, ритуальное. Это было не просто осуждение преступника. Это было больше. Серьезнее. Агата прикрыла глаза, пытаясь расшифровать эту звуковую карту. Она была уверена: толпа не просто смотрит. Толпа чего-то ждет. И это ожидание было таким плотным и всеобщим, что она чувствовала его здесь, под землей, как изменение давления перед грозой. Что-то должно было случиться. Что-то страшное и неотвратимое. И весь город собрался, чтобы стать свидетелем.

Свет под дверью родился неправильно. Он не просочился тонкой струйкой, а вспыхнул сразу, ярко и нервно, будто кто-то резко распахнул дверь в адское пекло. И запах был не тот. Не смола и дерево, а что-то едкое, маслянистое, от чего першило в горле. Агата прищурилась, привыкая к непривычно яркому свету, который резал глаза. Она ждала. Ждала шарканья ног, скрипа тележки, привычного стука миски о камень. Но ничего не происходило.

Время растягивалось, превращаясь в липкую, тревожную патоку. Свет горел, а еды не было. Голод, всегда дремавший где-то на дне желудка, проснулся и начал скрестись, требуя свое. Раздражение смешивалось с тревогой. Этот нарушенный ритуал пугал ее больше, чем гул толпы снаружи. Это бы-

ло неправильно.

Наконец она услышала шаги. Но не одни. Две пары. Одни – знакомые, шаркающие. Другие – медленные, весомые, с легким постукиванием. Скрипнул засов, который не открывали с момента ее прибытия. Дверь, протестуя каждой ржавой петлей, отворилась.

В проеме стояли двое. Первой Агата увидела ту самую женщину, повариху. Но сегодня на ней был чистый, хоть и застиранный, передник, а лицо ее было бледным и испуганным. В руках она не держала ни половника, ни миски. Ее руки были пусты и безвольно висели вдоль тела. За ней стоял мужчина, которого Агата никогда не видела так близко. Старик. Его лицо было похоже на печеное яблоко – все в глубоких морщинах, с пергаментной, сухой кожей. Седая борода, редкая и жесткая, как старая щетка, спускалась на грудь. Но глаза... глаза были молодыми. Маленькие, черные, блестящие, они смотрели на Агату без ненависти, без жалости, без всякого выражения. Это был взгляд человека, который смотрит на вещь, на инструмент. На нем была темная тяжелая одежда, расшитая по вороту тусклыми нитями. Один из Старейшин.

Тишина в камере стала звенящей. Старик не двигался, лишь его взгляд медленно скользил по фигуре Агаты, по ее грязным волосам, по ошейнику. Затем он кивнул поварихе. Та вздрогнула, как будто ее ударили, и, не глядя на Агату,

протянула дрожащую руку, указывая на нее пальцем. Простое молчаливое движение, которое ощущалось как приговор. «Освободите дитя», – произнес Старейшина.

Голос его был таким же сухим и старым, как его кожа. Негромкий, но он наполнил собой все пространство, не оставив места для возражений. Слово «дитя» из его уст прозвучало чудовищной насмешкой.

Из-за его спины вышли двое стражников. Они двигались беззвучно, как тени. Один держал в руках связку ключей. Агата инстинктивно попятилась, пока цепь не натянулась, дернув ее за шею. Она не боялась. Страх был слишком большой роскошью. Она просто не понимала. В ее мире не было такого понятия, как «освобождение». Были только разные виды клеток.

Стражник подошел к ней, не обращая внимания на ее напряженную позу. От него пахло кожей и холодным железом. Он вставил ключ в замок на ошейнике. Раздался громкий, сухой щелчок, который эхом отразился от стен. Металлический обруч, ставший частью ее тела, распался. На шее, где он сидел годами, остались незаживающие ссадины, и израненная кожа горела от внезапного притока воздуха.

Агата невольно коснулась своей шеи. Ощущение было странным, неправильным. Словно она потеряла часть себя. «Ведите», – бросил Старейшина, разворачиваясь.

Второй стражник грубо схватил ее за локоть. Его хват-

ка была железной, не оставляющей шанса на сопротивление. Он потащил ее из камеры, из ее треугольного мира, к свету и гулу. И Агата, спотыкаясь на ослабевших ногах, впервые за долгие месяцы переступила порог, понимая только одно: ее не освободили. Ее просто переводили в другую тюрьму. И, судя по всему, она была гораздо страшнее этой.

Ее вытолкнули из полумрака коридора на свет. Он ударил по глазам раскаленной иглой, заставив зажмуриться и на мгновение ослепнуть. Воздух был другим – свежим, но тяжелым, наполненным запахом мокрой земли, пота тысяч тел и озоновой свежестью страха. Когда зрение вернулось, сначала расплывчатыми пятнами, а затем четкими контурами, Агата увидела.

Судебная площадь. Ее собственное лобное место. Она помнила его до мельчайших деталей: выщербленные плиты, серый фасад ратуши, кривой столб, на котором вывешивали указы. Но сегодня все было иначе. Напротив входа в тюрьму, на небольшом возвышении, стоял длинный стол, покрытый темным сукном. За ним, в высоких резных креслах, сидели они. Старейшины. Пятеро мужчин и две женщины, застывшие, как каменные истуканы, с лицами, лишёнными всяких эмоций. Перед ними – пустая стойка глашатая. А вокруг, сколько хватало глаз, стояла толпа.

Они стояли плечом к плечу, заполнив все пространство, забравшись на ступени домов, свесившись из окон. Тысячи. Тысячи лиц, обращенных к ней. И на всех лицах было од-

но и то же выражение – смесь страха, благоговения и злого, голодного любопытства. Гул, который она слышала под землей, здесь превратился в оглушительную тишину. Это была не тишина отсутствия звука, а тишина сдавленного дыхания, тишина ожидания.

Все это было устроено для нее. Этот театр. Эта церемония.

Мысль пронзила ее с холодной, насмешливой ясностью. Значит, все-таки решили ввести смертную казнь. И она, мелкая воровка, удостоилась чести стать первой.

«Наконец-то смертный приговор?» – слова сорвались с ее губ прежде, чем она успела их обдумать. Голос прозвучал хрипло и чужеродно, как будто принадлежал не ей. В нем не было страха, только едкая, въевшаяся в душу ирония. На ее губах застыла кривая ухмылка.

Стражник, державший ее за локоть, сжал пальцы так, что она поморщилась от боли. Его рука дернула ее вперед, заставляя споткнуться. «Молчать», – прошипел он в самое ухо обжигающим луковым дыханием.

Ухмылка сползла с ее лица, сменившись недоумением. Это было нелогично. В тюрьме Жвялого, в соседних камерах, сидели люди, чьи преступления заставляли стынуть кровь. Убийцы, что лишили жизни за пару медяков. Насильники. Они гнили там, отбывая свой пожизненный срок, и город вполне этим довольствовался. Жвялый не любил крови. Он предпочитал, чтобы его грязь медленно разлагалась

в темноте, а не выплескивалась на брусчатку площади. Почему она? За кражу? Пусть и десятую. Пусть и надоевшую всем. Смерть была слишком большой ценой за это.

Ее подвели к центру площади и остановили. Она стояла одна, в лохмотьях, под взглядами тысяч глаз. Стражники отошли на несколько шагов, образовав вокруг нее пустое кольцо. Она чувствовала себя насекомым, припиленным к доске.

Раз снова суд, раз снова приговор, значит, прежний был отменен. А что могло быть хуже пожизненного заключения? Только одно. Мысль возвращалась, упрямая и неотвязная. Смерть. Но почему так странно? Почему такая pompa? Почему весь город здесь, чтобы посмотреть на это? Ее разум, привыкший к простой логике выживания – укради, чтобы съесть, беги, чтобы не поймали – отказывался понимать происходящее. В этом ритуале было что-то древнее и неправильное, что-то выходящее далеко за рамки обычного правосудия. И от этого незнания, от этой нелогичности по спине пробежал холодок, который был страшнее любой определенности.

Тишину расколол стук дерева о камень. Старейшина, тот самый, с пергаментным лицом и глазами-бусинами, отделился от стола. Он медленно, опираясь на резной посох из темного дерева, подошел к стойке глашатая. Каждый его шаг отдавался гулким эхом в мертвой тишине площади. Он не смотрел на Агату. Он смотрел поверх ее головы, на толпу, на

серые крыши, на низкое, свинцовое небо. Он положил костлявые руки на края трибуны и, помедлив, заговорил. Его голос, сухой и скрипучий, разнесся над площадью, и каждое слово было выверено и весомо.

«Ведомо каждому, кто носит имя жителя Жвялого, – начал он, и толпа всколыхнулась, издав единый сдавленный вздох, – что залог нашего благоденствия, наш тучный урожай и здоровье наших чад держатся на Договоре старом. И по тому Договору, когда луна времен совершает свой круг, Лес требует плату. Лихо Лесное ждет свою невесту».

Он сделал паузу, позволяя словам впитаться в воздух, в умы, в души.

«Два века кряду город наш честен в своей уплате. Мы отдаем лучших из дочерей, дабы отвести гнев Лесного Хозяина от наших крыш. И ныне вновь пришел тот час. Лес подал нам знак. Лихо желает нового семени, и невеста должна войти в его чертоги, дабы понести его отпрысков».

Его черные глаза наконец опустились и впились в Агату. Взгляд его был тяжелым, как могильная плита.

«Совет Старейшин, взвесив судьбы всех, обратил свой взор на тебя».

Толпа ахнула. Не громко, а так, словно у тысячи человек разом перехватило дыхание. Агата почувствовала, как все взгляды, до этого просто любопытные и злые, сфокусировались на ней с новой, острой силой. Теперь в них был не только страх, но и облегчение. Облегчение от того, что выбрали

не их дочь, не их сестру. Выбрали ее. Отброса. «Тебе, дитя, отринутое и осужденное, дается выбор, коего не бывает, – продолжил Старейшина, и в его голосе прорезались нотки металла. – Готова ли ты сменить темницу сырую на чертоги лесные? Смыть позор воровства службой великой и обратить приговор пожизненный в новую жизнь под сенью Хозяина?»

Он замолчал. И весь мир замолчал вместе с ним. Все ждали ее ответа.

Агата стояла неподвижно, но внутри нее бушевал ураган. Слова Старейшины бились о стенки черепа, как обезумевшие птицы. Лихо. Невеста. Отпрыски. Это были слова из детских страшилок, которыми пугали у огня. Слова, которые взрослые произносили шепотом, оглядываясь. И теперь они были обращены к ней.

Выбор. Какая издевка.

Мысли, обычно ясные и острые, как заточка, смешались в хаотичный клубок.

С одной стороны весов – ее клетка. Сырой, холодный камень. Вечная темнота. Ошейник, цепь. Миска с безвкусной кашей. Медленное, серое угасание, растянутое на десятилетия. Смерть от старости в собственном зловонии, о которой никто даже не узнает.

С другой стороны – его предложение. Особняк. Чертоги. Слова звучали красиво, но она не была дурой. Это была другая клетка, просто украшенная резьбой. И хозяин в ней –

не тюремщик с ключами, а нечто, чего боится целый город. Нечто, чему приносят в жертву девушек. Никто из них не возвращался. Это она знала точно. Значит, это тоже смерть. Но другая. Быстрая? Мучительная? Неизвестная.

Смыть позор. Вот что заставило ее губы скривиться в беззвучной усмешке. Они заклеямили ее, вышвырнули, осудили за то, что она пыталась выжить. А теперь предлагают ей «честь» стать искупительной жертвой. Спасти их. Их сытые, лицемерные души.

Она молчала. Она взвешивала не жизнь и смерть. Она взвешивала две смерти. Одну – долгую, унижительную, знакомую. Другую – быструю, страшную, но новую. В одной она была никем, просто строчкой в тюремной книге. В другой – станет частью легенды, страшной сказки.

И чем дольше она думала, тем яснее становилось одно. Это не было вопросом. Это была формальность. Представление для толпы. Ее ответ не имел никакого значения. Решение уже было принято. Они не спрашивали ее. Они сообщали ей ее судьбу.

Молчание затягивалось. Агата чувствовала, как напряжение толпы нарастает, превращаясь в почти осязаемую стену, давящую со всех сторон. Она опустила взгляд на свои ноги – босые, грязные, в ссадинах. Потом подняла глаза на лица Старейшин, застывшие, как погребальные маски. И в этой паузе, в этой точке абсолютного бессилия родился план.

Он не был результатом долгих размышлений. Он вспых-

нул мгновенно, как искра от удара кремня о сталь. Чистый, ясный, рожденный инстинктом выживания, который был отточен годами.

Тюрьма – это конец. Каменный мешок, из которого нет выхода. Там ее единственными инструментами были ее пальцы и терпение, но они были бесполезны против толстых стен и стальных засовов. Она была прикована, обезоружена, лишена всего.

Но особняк... Чертоги Лиха... Это было неизвестное. А в неизвестности всегда есть шанс. Там не будет ошейника, сковывающего каждое движение. Там, возможно, будут окна, двери, которые можно вскрыть. Там будет еда, которая даст силы, и одежда, которая защитит от холода. Там будут развязаны руки и ноги. А главное – там будет ночь. Ее стихия. Ее союзница. Ночь, в которой можно затаиться, проскользнуть, исчезнуть. Из тюрьмы сбежать было невозможно. Но из другого дома, пусть и принадлежащего чудовищу, она сбежать могла. Она должна была попытаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.